

Иной раз помнит бумага такое, что забывают и народ, и земля, и вековые горы. Отчеты Алтайской духовной миссии, чудом дошедшие до наших дней, хранят множество преинтересных, трогających за душу историй. Вот одна из них¹.

Стояло когда-то на левом берегу реки Тархаты село Бальтир. В нем жил и держал стада один бай, Савва Евтиеков. Коренастый, крепкий, был он похож, скорее, на каменную грудку, принесенную с курума весенней водой. И лицо у него было недоброе, все какое-то каменистое: сизый бугристый нос, тяжелый, как скала, лоб, замшелые брови, из-под которых, словно кусочки свинца, поблескивали глаза. Жил Евтиеков крепко и во всем основательно, зная свою большую природную силу. Когда выезжал

¹ В основу рассказа лег отчет об Алтайской духовной миссии за 1911 год. Томск, 1912, С. 6-9. Автор благодарит протоиерея отца Георгия (Крейдуна) за предоставленные исторические материалы.

он на пегом своем аргамаке, пастухи его разбегались кто куда, забивались в норы, будто ящерицы, да все напрасно. Находил их Савва и учил по-своему, нехитрая то была наука, но верная — мог ткнуть кулаком в грудь, так что ребра трещали, мог нагайкой огреть по загривку, так что искры из глаз сыпались. Даже если не знал он за работником какой-то особой провинности, все равно учил — впрок. А пастухи между тем, потирая битые бока, качали головами да приговаривали: «Что с Саввы спросишь? Он — бай, большой человек, дурной человек».

Случилось как-то Савве бывать по своим делам на правом берегу реки. День был жаркий, солнце сияло в пустом небе, Савва ехал, развальясь в седле, расстегнув по случаю духоты кафтан. Вдруг из травы, из-под самых конских копыт поднялся степной орел. Савва проводил его черным своим тяжелым взглядом. Где-то под грудой грубых его мыслей серой змейкой скользнуло удивление. Орел был невидим до последнего мгновения, пока всадник не нагрязнул на него кованой поступью, а теперь взмыл, простерся в небе, очевидный, величественный. На минуту показалось Савве, что сам он вместе с лошастью как бы скрылся в его тени, измельчал, почти совсем пропал. «Ишь, ты», — буркнул себе под нос Савва. Отчего-то ему сделалось не по себе.

На берегу конь опустил голову к воде, и, алчно всхрапывая, принялся пить. Савва резко натянул удила и привычно направил его в белую пену. Тархата в последние годы истратилась, обмелела, всадник теперь мог перейти ее без всякого брода — лошадь и бабок не замочит. Конь Саввы между тем ступал по давно исхоженному дну, наверное, знаячи. Но вот, ровно на середине реки одно из копыт его вдруг скользнуло на сыром камне и угодило в ямку. Ямка эта, должно быть, возникла недавно, когда спало вешнее половодье. Конь смешался, оступился, резко завалился вперед. Савва всем грузным своим телом упал на твердую луку седла, в тучном животе бая тут же возникла резкая боль. Бай выругался глухо, сквозь зубы, хлестнул коня чембуром. Остаток пути до дому он крепко держался за место ушиба, выплевывая самые грязные проклятья. Возле коновязи он тяжело свалился с коня и позвал сыновей. Сквозь серую

пелену, застлавшую глаза, он снова увидел орла, который превратился в черный росчерк на выцветшем небе.

С той поры Савва Евтиеков занемог. В пыли и духоте возился он на одре своем, стонал и ругался в бессильной злобе. Когда боль отступала, старый бай словно бы оживал, звал к себе сыновей, давал наказы по хозяйству. Но и в это время он тосковал, зная, что пройдет время и мучения его возобновятся. Никто в Бальтире не знал средства от его изъязвления. Давно извелись в тех краях камы. Последним знающим стариком в округе был кривой Алым. Когда он жил, люди вспоминали о нем по редкому случаю, да при встрече еще, по старой памяти, снимали перед ним шапки. Сам Савва Евтиеков смутно помнил, как его, маленького еще мальчика, приводили к Алым-каму унимать злую лихорадку. Помнил страшные глаза его: правый глаз подернут бельмом, другой кривит влево, будто высматривает на земле невидимое. Опрокинув плоску-другую водки, старик принимался ходить вокруг костра, потрясая облезлым бубном. В давние времена одержимый невидимыми силами, он, как говорили, мог подпрыгивать выше головы, кувыркаться в воздухе и прохаживаться по яранге колесом. Под конец жизни однако совсем ослаб кривоглазый духовидец и мог только стряхивать пыль с ветхого маньяка да хрипеть полузабытые заговоры.

С тех пор как Алым-кам помер, народ в Бальтире вовсе жил в духовной праздности и суете. Но вот некоторое время назад появились в Онгудае русские абызы. Как прежде в Майме, Улале и Мьюте, разбили они здесь свой стан, сложили из бревен молитвенный дом и начали объезжать окрестные айлы, обращая в православие темный горный люд. Вместе с новой верой принимали люди и новую жизнь, оставляли прежний свой кочевой быт, поселялись в русских избах, постились и молились, как русские.

Сам Савва в Онгудай не ездил, и сыновьям своим не велел. «Зачем в Онгудай ехать? Креститься будете? Русскими станете?! — говорил он насупившись. — Вот, подождите, узнаете у меня...» Он воспрещал строить в Бельтире молитвенные дома, при любом удобном случае ставил абызам и причетчикам всякие препоны, где-то действуя хитростью и обманом, где-то — грубой

силой. Когда же некоторые из людей его пожелали креститься, Савва пришел в ярость и устроил над ними жестокую расправу, бил и истязал несколько дней, а после и вовсе лишил удовольствия. «Пусть русские вас кормят! Я не стану!» — сказал он им. Невозможно было никак смягчить его сердце. «Большой человек, — вздыхали люди. — Дурной человек».

Савва не любил русского Бога. Во всех бедах, во всех своих недоимках винил он его. И то дело — год за годом подтачивал Бог Саввину природную силу, мором и звериными происками прореживал стада, разбивал коням копыта и, самое страшное, умыкал тайком людей. Поначалу людей незаметных — только старых, больных и бедных, а затем — сродников и соседей. Все меньше вокруг становилось тех, кто жил прежним укладом, все чаще, вглядываясь в знакомые лица, бай видел в них какие-то новые, чуждые ему черты, а в глазах подмечал нездешний проблеск. Сперва — мало-помалу, а затем все стремительнее утрачивал старый бай власть над окружавшим его вещественным миром. Разразившаяся вдруг болезнь одним махом положила его на обе лопатки. Все окружающее Савву пространство как бы разом уменьшилось, съежилось, словно плохо выделанная кожа. Пища утратила вкус, звуки оглушились, свет угас, стал серым и бессмысленным. Впервые, должно быть, за всю свою долгую жизнь почувствовал Савва страх.

Как-то побывал у него в гостях знакомец из дальнего аила. Старый бай тогда еще вставал со своего одра и принимал понемногу пищу. После приличествующих приветствий и расспросов заговорили о разных будних делах и событиях недавнего времени. К неудовольствию своему Савва заметил, что знакомец уводит разговор в сторону, говорит все больше о делах далеких и Савве незнакомых. Скоро речь зашла о чудесных исцелениях новокрещеных и о том, что русские абызы немало знают в лекарском искусстве. Старый бай слушал с возрастающей досадой, и, наконец, вспылил, и, забыв всякие приличия, прикрикнул на гостя:

— Зачем мне это рассказываешь? Не стану я лечиться от русских!

Взглянул бай в глаза гостя и к ужасу своему узнал в них то самое — потаенное, нездешнее, чуждое.

— Ах, вот как! — Савва пришел в ярость. — И ты тоже! Не хочу с тобой иметь никаких дел. Ступай прочь!

Сказав так, он завалился на лежак и отвернул лицо к стенке. Обиженный гость тотчас уехал, а Савва с тех пор вовсе не вставал.

Прошло еще несколько дней. Позвал старый бай сыновей, велел послать в стан за абызом. «Скажите: желаю принять крещение, — наказал он им. — Но прежде пусть отслужат за меня молебствие. Икону Николая пусть принесут». Савва слышал, что икона святого Николая обладает чудодейственной силой, и теперь надеялся, что абыз с ее помощью излечит его недуг. Об одном он не сказал сыновьям — что задумал, получив исцеление, отказаться от своего обещания креститься. «Свечку поставлю Николе и будет ему», — говорил он про себя.

Вернулись братья из Онгудая хмурые, задумчивые, рассказали отцу, что абыз уехал в Улалу и не обернется раньше чем в семь дней. Бай, не получив немедленной помощи, впал в новое томление. «Неужели Бог прознал мой умысел? — думал он. — Теперь не будет мне избавления». День за днем Евтиеков слабел. Кто-то из соседей, крепких в прежней своей вере, уговаривал послать в соседний улус, где, как говорили, жила еще сильная шаманка, но Савва и слышать о том не хотел. Чувствовал он, что и одно только молебствование не исцелит его. Даже икона чудотворная не поможет. «Покрещусь. Дождусь православного абыза и покрещусь, — говорил он родным. — Тут-то все на лад и пойдет. Если другие исцелились — значит, и я исцелюсь. Я не хуже других: у меня большие стада, крепкие сыновья, много земли. Абызу много-много заплачу. Примет меня его Бог».

Наконец из Онгудая приехал причетчик. В доме Саввы его встречали как дорогого гостя. Занялось большое беспокойство — закололи ягненка, сварили шурпу. Причетчик рассказал Савве историю о святом Христофоре — прежде это был свирепый язычник по прозванию Репрев, грубый и страшный на вид. Лишь по принятии в сердце свое Христовой истины он преобразился — стал кроток и чистосердечен. За многие подвиги свои он особенно почитается в русской церкви как пример искреннего покаяния. Савва слушал внимательно, изредка только срывался с его губ тихий стон.

Той же ночью Савва Евтиекон проснулся вдруг среди ночи, оттого что почувствовал стороннее присутствие.

— Кто здесь? — произнес он слабым голосом. — Это ты пришел, абыз?

Ослабленный болезнью, он все же понимал, что это невозможно, ведь на дворе стояла темнейшая ночь. «Или я ослеп теперь?» — подумал он с тоской.

— Это я, — был ответ. Голос показался Савве мягким, густым и исполненным силы.

— Ты пришел... — выдохнул Савва.

— Да, пришел. Но, скажи мне, Савва, отчего ты решил приступить к святому Таинству теперь, когда ты слаб и болен? Почему бежал от Него в дни радости своей?

— Не было у меня дней радости, — произнес Евтиекон. — Всю свою жизнь провел я в трудах и заботах. Теперь я недужен. Говорят, с Крещением я исцелюсь.

Невидимый гость некоторое время молчал.

— Разве будешь ты роптать на Бога, если боль твоя не отступит? — спросил он, и в голосе его послышалась печаль.

— Не буду роптать, — произнес Савва. — Только исцели меня, абыз!

— А что ты знаешь о пути, на который собираешься ступить? — спросил невидимый гость.

— Ничего, — выдавил Савва. — Расскажи мне.

Не успев договорить, он обнаружил себя на берегу реки. Испугался бай, не понимая, какая сила перенесла его сюда в мгновение ока. В жизни своей не видел старый бай таких рек. Перед ним была не мелководная Тархата, но громогласный, стремительный поток. Вода мчалась в неизвестную, внешнюю тьму, играючи перекатывая многопудовые валуны и выдирая с корнем скалы. За сизой пеной не видно было другого берега. Савва стоял на осклизлой гальке, один, без коня, прижатый к земле чем-то грузным вроде мешка с камнями, но стократ тяжелее. Опорой ему была какая-то жалкая палочка, которая гнулась под великим весом. Он не мог поднять головы, не мог оглянуться, но только смотрел впереди себя. «Что я должен делать?» — в страхе закричал старый бай. «Перейди на другой берег», — услышал он голос

полуночного гостя. Оглядевшись, Савва увидел каких-то людей, незнакомых ему. Каждый имел на плечах великий груз, и у каждого в правой руке посох, у кого — железный, у кого — кедровый, у кого — тонкая осиновая жердь. Глянул Савва на свою опору — посох не посох, а зеленый сырой прут, будто его только что оторвали от дерева. Незнакомцы ступали в воду один за другим и исчезали в рокочущей пене.

Собравшись с силами, Савва сделал шаг и почувствовал, что неведомая ноша его сделалась еще тяжелее. Он шагнул в бурлящий поток. Груз на его плечах превратился в гору. «Нужно идти, — подумал он, и шагнул снова. — Как и прежде, я силен, я смогу ступить на тот берег». Он шагнул еще раз, и нога его угодила в расщелину, груз повалился набок, увлекая его во внешнюю тьму, прут изогнулся, готовый вот-вот лопнуть. И понял старый бай, что, несмотря на всю свою прежнюю силу и власть, ничего не может он сделать для спасения своего. «Помогите! Помогите!» — закричал он и проснулся. Некоторое время он лежал на своем одре, чувствуя, как боль мало-помалу пробуждается в его измученном чреве. Стояла обычная предрассветная тишина. Савва чувствовал, что нежданный его гость исчез. Он всматривался и вслушивался в молчание ночи, но не заметил ничего необычного. Наконец, утомленный, он снова провалился в сон, черный и глухой — без сновидений.

Наутро силы как будто вернулись к нему. Он пожелал надеть крест, что немедленно было исполнено. Он позвал к себе старшего, любимого, сына. Сын сидел возле ложа умирающего и смотрел в его потускневшие, истомленные глаза своими — живыми, темными. Он слушал слова отца и кивал, потому что в ответ на отцовский наказ положено только кивать. В темных глазах его скользнуло удивление, когда Савва строго наказал ему построить для миссионеров в Бальгире стан. Он не сказал старому баю, что и сам после поездки в Онгудай твердо решил креститься. Савва разглядел в его глазах отблеск нездешнего света и заплакал — впервые в своей взрослой жизни. В эту минуту он понял, что не доживет до своего крещения, но так и умрет оглашенным. Он плакал от счастья, явственно чувствуя, что сыновья в будущей их жизни станут стократ лучше его. Он плакал от горести —

оттого, что уже не сможет сделаться лучше, что, прожив долгую и скучную жизнь в скалистом краю, не познал даже самого малого, тихого счастья.

На другой день умер Савва Евтиеков. Прошло много лет — умерли и его сыновья. Минул век — и сам Бальтир во время большого землетрясения поглотила земля. Угасла народная память, и никто уже не помнит жестокого бая. Осталась на бумаге лишь история о его предсмертном покаянии.